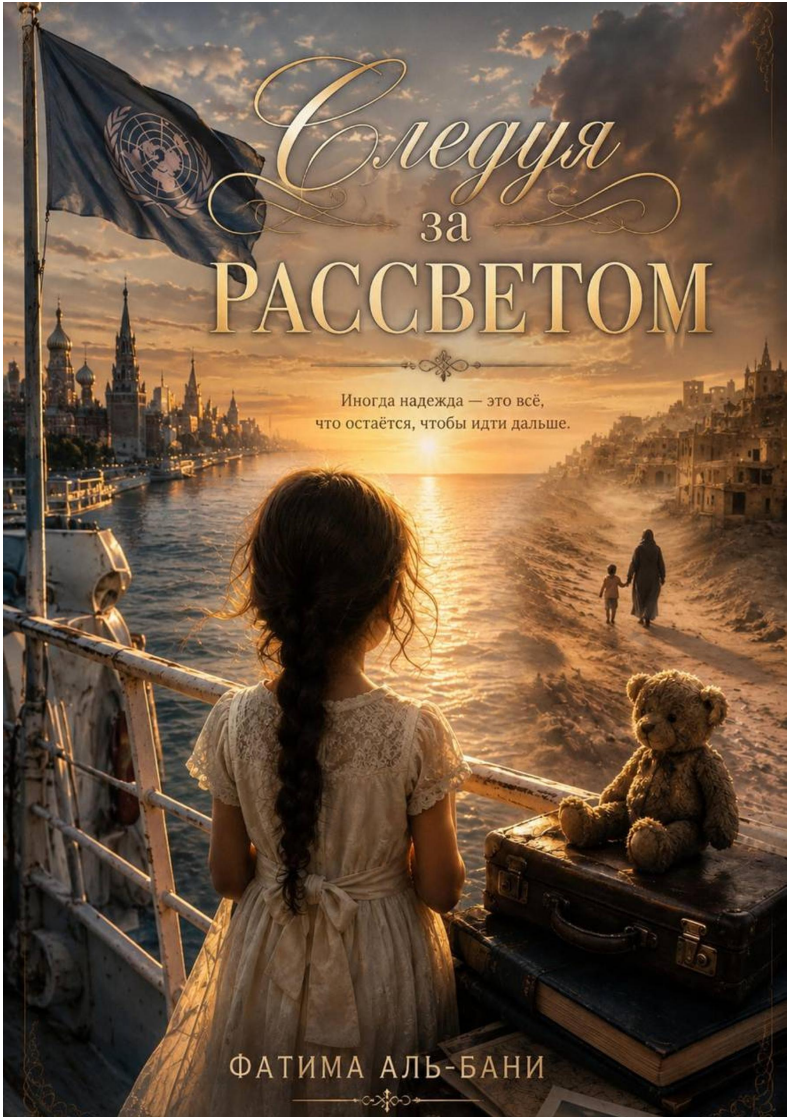
Следуя
за
РАССВЕТОМ
Иногда надежда — это всё,
что остаётся, чтобы идти дальше.
ФАТИМА АЛЬ-БАНИ

Фатима Аль-Бани
Следуя за рассветом

https://litres.ru/74354348
SelfPub; 2026

Аннотация

Основано на реальных событиях.

В четыре года война навсегда изменила её жизнь. Рождённая на стыке двух культур, она потеряла дом, стала беженкой, столкнулась с предательством собственного отца и слишком рано поняла, что её судьбу могут решить без неё. Однажды, стоя на палубе корабля Организации Объединённых Наций, маленькая девочка дала себе обещание... Оно стало её мечтой. А мечта — светом, который вёл её через годы испытаний.

Но это история не только одной девочки. Это история тысяч женщин, покинувших Советский Союз ради любви, история детей, выросших между двумя культурами, история миграции, поиска дома, борьбы за свободу и права выбирать собственную судьбу.

«Следуя за рассветом» — автобиографический роман о надежде, силе человеческого духа и пути к своему рассвету.

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. Танец, с которого всё началось	7
ГЛАВА 2: Чужая навсегда	12
ГЛАВА 3: когда начинается война, заканчивается детство	17
ГЛАВА 4. Зелёный рай	21
ГЛАВА 5. Люди в голубых беретах	30
ГЛАВА 6. Трещина	34
ГЛАВА 7. Затишье	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Следуя за рассветом

ВСТУПЛЕНИЕ

Судья произносит спокойно и чётко: — Исковые требования удовлетворить в полном объёме. Я не улыбаюсь. Просто стою прямо и держу в руках плотную голубую папку. По краям она чуть потёртая — я носила её с собой несколько месяцев подряд. Пальцы сами гладят шершавый уголок.

И вдруг — зал суда исчезает. Вместо него перед глазами встаёт совсем другая картина. Не воспоминание в обычном смысле. Скорее, картинка-вспышка. Ощущение. Запах. Белый корабль. Две огромные голубые буквы — UN.

Мне четыре года. Мы стоим в порту Адена. Воздух дрожит от зноя, как будто само пространство плавится. Со всех сторон — крики, толкотня, люди бегут с чемоданами и детьми на руках. Пахнет морской солью, потом, раскалённым асфальтом и чем-то едким — не то гарью, не то страхом.

Мы ждём посадки. Последний корабль, который может вывезти нас из охваченного войной Йемена. Я тяну маму за руку. Её ладонь мокрая и горячая.

— Мама, а что это значит? — показываю пальцем на голубые буквы. Она наклоняется ближе и тихо отвечает: — Это те, кто помогает людям.

На корабле тесно. Тяжело. Люди ссорятся, плачут, руга-

ются из-за каждого метра. Мы находим крошечное место на палубе. Чемодан становится нам и подушкой, и скамейкой, и единственным островком в этом море чужих спин.

Я сворачиваюсь калачиком и засыпаю.

Просыпаюсь ещё до рассвета. Корабль стоит неподвижно посреди пролива Баб-эль-Мандеб. Вокруг — тишина. Не просто отсутствие звуков, а Тишина с большой буквы. После дней постоянного страха и хаоса она кажется почти священной.

Все спят. Даже люди в голубых беретах, которые вчера раздавали воду, успокаивали плачущих и помогали подниматься на борт.

Я подхожу к перилам. Небо светлеет. Вода розовеет. И вдруг — прямо у борта — дельфины. Их блестящие тела мелькают в первых солнечных лучах. Они выпрыгивают из воды и снова исчезают, будто играют с рассветом. В этот момент я чувствую то, чего давно не чувствовала. Покой. Настоящий, глубокий, детский покой. Он пахнет морем и свежим воздухом. Не страхом.

Я смотрю на людей в голубых беретах. Они спят здесь же, на палубе, уставшие после долгого дня. Для меня, четырёхлетней, они — герои. Те самые, о ком мама шептала сказки под кроватью, когда за окном грохотали взрывы. И тогда внутри рождается не мысль — образ. Простой. Наивный. Но очень ясный.

«Я хочу быть как они. Приносить людям такую же тиши-

ну».

Сегодня я стою в зале суда. Я не стала сотрудником ООН. Я стала юристом.

Это не история о юристе. Это история о девочке, которая прошла через войны, предательства, побеги и новые начала. О том, как тот детский образ — образ защитника — тихо вёл меня всю жизнь.

Я пишу эту книгу не для того, чтобы что-то доказать. Не для того, чтобы выставить себя героиней. Я не стала суперуспешным человеком с обложки журнала. Но путь, который я прошла, и точка, из которой я начала, — это моё путешествие. И если моя история поможет хотя бы одному человеку, который сейчас находится в своей собственной яме, увидеть свет, — значит, всё было не зря.

Судья заканчивает фразу.

А я слышу не просто профессиональную победу. Я слышу тихий ответ той четырёхлетней девочке на палубе корабля: «Ты выжила. Ты не забыла. Ты нашла свой путь».

ГЛАВА 1. Танец, с которого всё началось

Чтобы понять, как мы оказались на том корабле, нужно вернуться назад. В историю, которая началась задолго до моего рождения.

Эту историю я знаю по кусочкам. Мама рассказывала её в разное время — иногда с улыбкой, иногда с горечью. Иногда просто роняла фразу, а я потом, уже взрослая, собирала из этих фраз целую картину. Я задавала вопросы. Сопоставляла. Представляла. Некоторые детали я проверила позже. Некоторые — прочувствовала на себе, когда сама оказалась в похожей ситуации. А что-то просто врезалось в меня так глубоко, будто я прожила это сама.

Ленинград. Конец восьмидесятых.

Мама говорила: что город тогда был серым, тяжёлым, но в воздухе всё равно витала странная надежда. Советский Союз уже трещал, а люди всё ещё верили, что жизнь может внезапно повернуться к лучшему.

Моя мама была тогда совсем молодой. Маленькая, упрямая татарская девушка с большими зелёными глазами и длинными волнистыми волосами. Она работала днём, училась вечером и жила в ритме большого холодного города. Крутилась как белка в колесе.

А потом в её жизнь ворвался он как яркий восточный ветер в этом сером городе.

Высокий, смуглый, в военной форме. Харизматичный. С мягкой улыбкой и акцентом, от которого оборачивались. Он проходил подготовку в военной академии — йеменский офицер, присланный учиться в Советский Союз.

Они встретились в ресторане. Обычный вечер: музыка, приглушённый свет, девушки в скромных платьях. Мама пришла с подругами — просто потанцевать, забыть об усталости. А он подошёл. Пригласил на танец. И с этого медленного танца под старые советские песни всё и началось.

Он умел говорить. Его слова звучали как обещание лучшей жизни, как дверь в сказку. Говорил, что она будет его королевой. Что он никогда её не предаст. Что впереди — большая, яркая судьба. Мама, уставшая от серости и одиночества, влюбилась. Глубоко. Сильно. Всем сердцем.

И вскоре забеременела.

А потом он исчез. Сказал, что должен срочно уехать домой. И пропал. Ни звонка. Ни письма. Только гулкая, страшная тишина.

Мама осталась одна. Родила мою старшую сестру Анжелу 7 марта 1988 года — без мужа, без поддержки. Она потом рассказывала: в те дни плакала не от одиночества, а от предательства. Но держалась. Потому что теперь у неё была дочь.

Прошёл год и семь месяцев. И вдруг — звонок в дверь.

Он стоял на пороге, как ни в чём не бывало. Сказал, что

получил новую стипендию — теперь в Риге. Предложил собрать вещи, взять ребёнка и начать всё заново.

Мама смотрела на него и молчала. Внутри неё уже жила боль. Подозрение. Страх. Но она всё ещё любила. Любила так сильно, что переступила через всё. Согласилась.

Рига.

В Риге, 26 января 1990 года, родилась я. Мама пыталась верить, что теперь всё будет хорошо. Пыталась строить новую жизнь в чужом городе. Но чем дальше, тем яснее она видела: человек, за которого она вышла замуж, совсем не тот, кем притворялся.

По вечерам он говорил по телефону на арабском. Когда мама спрашивала — отвечал, что это «сестра». Мама не знала языка, но по интонациям, по тому, как он понижал голос и улыбался трубке, чувствовала ложь. Позже она поняла: сестёр было несколько. И все они были совсем не сёстрами.

А потом раскрылась главная тайна.

В Риге он узнал, что его первая жена, оставшаяся в Йемене, умерла. Обстоятельства были тёмными и пугающими: то ли упала с третьего этажа, то ли ушла в горы и не вернулась. Мама так и не узнала всей правды. Но теперь она знала другое: когда он танцевал с ней в ленинградском ресторане, когда обещал сказку и вечную любовь, у него уже была жена. И дочь.

Мама стояла посреди комнаты, прижимая меня к груди, и пыталась соединить в голове две реальности. Одна — та, в

которой она поверила. Другая — та, которая оказалась правдой. Они не соединялись. Рушились с хрустом.

А потом, в октябре 1990 года, когда мне было девять месяцев, отец объявил: — Учёба закончена. Мы едем в Йемен. Там ты будешь жить как королева.

Мама стояла и молчала. Она никогда не была за границей. Не знала, что такое настоящая жара, какие там традиции, как там смотрят на женщин. Всё, что она видела про Восток, — это яркие индийские фильмы по телевизору. И она очень хотела верить, что любовь способна вытащить из любой беды.

Многие задумаются: «Почему она не развернулась и не ушла? Она же уже знала о первой жене. Знала, что он лгал».

Но мама не могла. Не потому, что была слабой или глупой. А потому, что внутри неё уже несколько лет жил идеальный образ этого человека. Тот самый мужчина, который появился в сером Ленинграде как восточная сказка. Который танцевал с ней под старые советские песни и обещал сделать её королевой. Её разум отказывался соединять эти две картинки. Он прятал красные флаги, оправдывал ложь, придумывал тысячи причин, почему он не виноват. Потому что признать правду означало разрушить всё, на чём держалась её жизнь последние годы.

Она закрыла глаза. И шагнула в самолёт.

Это решение — маленькое «да», сказанное в октябре 1990 года, — станет началом всего. Началом ада, через который ей предстоит пройти. Через унижения, побои, изгнание, войну,

голод и страх. Через моменты, когда она будет стоять босиком на раскалённом песке с тремя детьми и не знать, куда идти.

Но тогда, в аэропорту, она ещё не знала этого. Она просто любила. И верила. Слишком сильно. Слишком слепо.

И это решение навсегда изменило наши жизни.

ГЛАВА 2: Чужая навсегда

В этой главе почти всё, что я описываю, я знаю только со слов мамы. Она рассказывала мне это уже когда я выросла — тихо, иногда останавливаясь, иногда сжимая пальцы так, что белели костяшки. Я слушала не только слова. Я смотрела на её лицо и пыталась представить, как всё было на самом деле. Почувствовать.

Самолёт заходил на посадку. Мама смотрела в иллюминатор и не узнавала землю внизу — сплошная жёлто-серая пустота. Когда дверь открылась, в лицо ударило не воздухом, а плотным, влажным паром. Она вдохнула — и грудную клетку будто туго обмотали верёвкой. «Я попала не туда», — пронеслось у неё в голове. Эту фразу она потом повторяла мне много раз.

Обратного билета уже не было. Не только потому, что отец не собирался её отпускать. В первые же дни она поняла, что снова беременна. С тремя маленькими детьми, в чужой стране, без денег и без единого человека, к которому можно было бы пойти, — она бы просто не выжила.

Почти через шестнадцать лет, я сама выйду из самолёта в Адене — и в ту же секунду, как ступня коснётся трапа, почувствую то же самое. Это странное, давящее удушье, которое невозможно забыть.

В квартиру, где нам предстояло жить, мы приехали не

одни. Родственники отца — женщины в чёрном, мужчины с жёсткими лицами — пришли «посмотреть на русскую». Они не здоровались. Просто стояли и смотрели. Мама вошла, прижимая к груди меня и Анжелу, и сразу почувствовала эти взгляды — тяжёлые, липкие, оценивающие. Ей не нужно было знать язык, чтобы всё понять. Презрение, раздражение, брезгливость. Этот язык везде одинаков.

Квартира была тёмной, с грязными стенами. Родственники сидели и ели на полу. Через несколько дней они постепенно разошлись, но осадок остался.

Мама рассказывала, как сидела на подоконнике, смотрела на пыльные улицы и впервые по-настоящему осознала: «Мне некуда уйти. Надо учиться жить здесь. Ради тех, кто уже есть, и ради того, кто скоро появится».

Она никогда не носила хиджаб. В Йемене даже выйти на улицу в длинном платье без платка было опасно. Мужчины оборачивались, кричали вслед. Дети кидались камнями. Мама вспоминала один случай, который врезался ей в память: она шла с маленькой Анжелой на руках, и из проезжающей машины ей бросили в лицо: «Русская шлюха!» Она остановилась. И в тот момент поняла: дело не в ней. Дело в том, что она — другая. А другой в этом мире места не было.

Тринадцатого мая 1991 года мама родила Назара. Сына.

В дом пришли соседи и родственники. Женщины громко радовались, мужчины пожимали руки, раздавали деньги. Мама стояла в стороне с младенцем на руках, смотрела на

этот шумный праздник в честь сына, и в груди у неё тихо, почти незаметно, шевельнулась мысль: «А когда рождались мои девочки… никто так не радовался. Никто не пришёл». Она не злилась. Не копила обиду. Просто заметила. И эта простая, тихая несправедливость кольнула её — и ушла.

А через двадцать дней после родов случилось то, о чём мама рассказывала шёпотом. То, что я потом видела перед глазами сотни раз, собирая по кусочкам.

В квартиру набилась вся родня отца — женщины с матрасами, узлами, детьми. Они расстелили свои вещи прямо на полу, начали командовать, требовать еду и место. Отца не было — уехал в командировку на несколько дней. Мама осталась одна. С грудным младенцем, годовалой мной и трёхлетней Анжелой.

Свекровь молча указала рукой на дверь.

Мама не спорила. Подняла Назара, взяла меня за руку, Анжела прижалась к её юбке. Мы вышли босиком.

Я этого не помню в обычном смысле слова. Но когда мама рассказывала, внутри меня что-то сдвигалось — и я словно видела эту сцену со стороны. Как будто я, уже взрослая, стояла там, на пыльной дороге, невидимым свидетелем. И смотрела.

Горячий, шершавый песок под босыми мамиными ступнями. Воздух, дрожащий от зноя. Три маленькие фигурки, прижавшиеся к ней. Анжела кричит: «Мама, у меня ноги горят! Больно!» Я — годовалая — плачу громко, надрывно, не

понимая, что происходит, просто чувствуя мамино состояние.

Назар, двадцатидневный, охрип от крика. А она идёт вперёд, не зная куда. Ни денег. Ни документов. Ни обуви. Ни одного человека, к которому можно было бы пойти.

Мама шла и шептала:

— Боже, помоги… Я не могу…

Спустя много лет она призналась мне в том, о чём молчала долгие годы.

Тогда, идя босиком по раскалённому песку с двадцатидневным младенцем на руках и двумя маленькими детьми рядом, она впервые в жизни оказалась на грани полного отчаяния. После тяжёлых родов, унижения, страха, бессилия и ощущения, что впереди нет ни дома, ни защиты, ни будущего, её сознание словно перестало искать выход.

На одно короткое, страшное мгновение ей показалось, что единственный способ избавить нас от этой жизни — уйти вместе. Не потому, что она не любила нас. Наоборот. Потому что в тот момент ей казалось, что впереди нас ждут только боль и страдания, а она больше не сможет нас защитить.

Она сама испугалась этой мысли.

Крепче прижала нас к себе и продолжила идти.

И вдруг — из-за поворота появился его джип. Как оазис в бесконечной пустыне.

Отец должен был вернуться только через несколько дней. Но он появился именно в тот момент, когда она брела по

раскалённой дороге. Вышел из машины. Посмотрел на нас. Ничего не сказал. Посадил всех в машину, довёз до дома и выгнал всю свою родню. Коротко бросил: «Уходите. Не возвращайтесь».

Мама тогда подумала: «Вот. Он выбрал нас. Свою семью. Меня».

И в тот вечер она впервые за долгое время улыбнулась. Она рассказывала мне об этой улыбке, и в её голосе звучала такая детская, глупая, отчаянная надежда, что у меня каждый раз сжималось сердце.

Постепенно жизнь начала понемногу налаживаться. Мама обустраивала квартиру, как могла. Мы с сестрой пошли в садик. Она познакомилась с другими русскоязычными женщинами, которые тоже вышли замуж за арабов. Они держались друг за друга, как щепки в море.

Но это было только затишье перед бурей.

В 1994 году Йемен раскололся. Началась гражданская война. Отец ушёл на службу.

Именно тогда началась та самая история, которую я до сих пор не могу рассказывать без кома в горле.

ГЛАВА 3: когда начинается война, заканчивается детство

Некоторые считают: в четыре года ничего не запоминается. Это неправда.

Запоминается не последовательность событий — запоминаются ощущения. То, от чего сердце замирало. То, что потом прокручиваешь в голове снова и снова — в кошмарах, в тишине перед сном, в разговорах с мамой. Эти картинки-вспышки не тускнеют. Они, наоборот, становятся чётче с каждым годом, обрастая деталями из маминых рассказов. И уже не разделишь, что помнишь сама, а что дорисовала память, пытаясь защитить тебя.

Войну я не понимала умом. Я её чувствовала кожей, дыханием, животом. Через взгляд мамы. Через тишину между взрывами. Через её руки — когда она прятала нас под кровать и начинала шептать.

Она шептала не молитвы. Она шептала сказки.

Не про принцесс. Не про чудеса. Про людей, которые приходят, когда страшно. Про тех, кто защищает. Кто просто есть рядом, пока мир рушится. Потом, когда я выросла и мы говорили о войне, мама призналась: она придумывала эти истории на ходу, чтобы заглушить грохот за окном. Чтобы мы слышали не взрывы, а её голос.

Мы не засыпали. Мы просто сдавались сну, когда усталость побеждала страх.

Запасы еды таяли. Выходить на улицу становилось всё опаснее. Каждый день превращался в тихую игру на выживание. А потом пришло известие: последний корабль. Он увозит людей из Йемена в Джибути.

Мы мчались в порт. Я не помню дороги. В памяти осталось только одно: мамины руки — мокрые от пота, крепко, до боли сжимающие меня и Анжелу. И воздух — горячий, густой, который будто подталкивал нас в спину: «Быстрее… Быстрее…»

На борту белого корабля сияли две огромные голубые буквы — UN. Для меня тогда это были просто буквы. Я не знала, что они значат. Но рядом стояли люди в голубых беретах. Они раздавали воду, помогали женщинам с детьми, успокаивали плачущих. И от них исходило странное, непривычное ощущение, которое я не могла тогда назвать словами. Только много позже я поняла: это было чувство безопасности. Кто-то сильный и добрый взял ситуацию под контроль. Вы не одни.

Мама потом рассказывала мне про Анжелу. Как моя шестилетняя сестра спрятала под одеждой выданные фрукты и тихо прошептала: «Мама, пусть будут. Вдруг у нас не будет еды. Тогда съедим эти». Ей было всего шесть. Но она уже знала: еда — это не просто обед. Это страховка на завтра.

На корабле не было свободных мест. Мы спали на палубе,

прямо на чемоданах. Мне было жарко, неудобно, тело липло к ткани. Я долго ворочалась, пока усталость не взяла своё.

А под утро всё стихло.

Я проснулась первой. Встала и подошла к перилам.

Этот момент я помню сама. Не со слов мамы. Он врезался в меня целиком — картинкой, звуком, запахом. Небо только начинало светлеть. В розовеющей воде, совсем близко к борту, прыгали дельфины. Их блестящие тела вспыхивали в первых лучах солнца. Вокруг стояла такая глубокая, чистая тишина, какой я никогда раньше не слышала. Тишина, которая пахла морем и свежим воздухом — не страхом, не дымом.

В этот момент я почувствовала то, чего давно не чувствовала: настоящее, глубокое, детское спокойствие.

Вот здесь, стоя у перил и глядя на розовый рассвет, я не давала себе клятв. Я была слишком маленькой для этого. Но во мне родился образ. Простой. Наивный. Очень настоящий. Я посмотрела на людей в голубых беретах — на тех самых, что были героями маминых сказок под кроватью, — и внутри что-то щёлкнуло. «Вот. Я хочу быть такой. Я хочу приносить людям такую же тишину».

Я не формулировала это словами. Просто почувствовала.

И в тот же момент, глядя на рассвет, я подумала, что война закончилась навсегда. Что всё страшное осталось позади. Что теперь начнётся хорошая жизнь — та, о которой мама шептала под кроватью.

Но жизнь решила иначе.

Через несколько лет всё повторится. Другая страна. Другая война. Снова тревога, бегство, чужое небо. Только теперь я была уже не маленькой девочкой. И всё равно — каждый раз меня возвращало туда. На ту палубу. К тому рассвету.

В самые тёмные моменты, когда вокруг рушилось всё, я закрывала глаза и вспоминала. Тех людей в голубых беретах. Дельфинов. И странную, невозможную тишину посреди войны. Это воспоминание стало моей тихой гаванью. Моим внутренним убежищем. Оно шептало мне то, что я когда-то поняла сердцем: всё плохое заканчивается. Всегда.

ГЛАВА 4. Зелёный рай

Джибути я не помню.

Остался только гул. Огромный военный самолёт с откидными сиденьями вдоль бортов, и мы сидим на них — мама, Анжела, Назар, я. Внутри пахнет керосином и металлом. Кто-то плачет. Кто-то спит, привалившись к чужому плечу. Мама прижимает Назара к груди и смотрит в одну точку.

Москва ударила холодом. Не тем холодом, к которому привыкаешь постепенно — а резким, мгновенным, как пощёчина. Мы вышли из самолёта в шортах, платьицах, сандалиях — во всём, что успели схватить, когда бежали из Адена. Утренний ветер пробирал до костей. Я помню, как мама сняла с себя кофту и накинула на меня, оставшись в одной тонкой рубашке.

Потом — поезд до Уфы. Деталей не осталось. Только ощущение бесконечного движения.

А вот дорогу от аэропорта Уфы я помню.

Было раннее утро. За нами приехали тётя Сария и её муж — мамина сестра с супругом. Мы погрузились в машину и тронулись. Я прилипла к окну.

Сначала за стеклом мелькали пригороды, дороги — серые, с редкими деревьями. А потом что-то произошло. Как будто кто-то медленно поворачивал ручку настройки. Серое отступало. Появлялась зелень — сначала робкая, пятнами, а

потом всё гуще и ярче.

Я никогда не видела такой зелени.

В Йемене были оттенки жёлтого, бурого, бежевого. Песок, пыль, выжженная трава. А здесь — целое море живого цвета. Трава, кусты, кроны деревьев смыкались над дорогой. Солнечный свет пробивался сквозь листву и падал на асфальт золотыми пятнами. Машина ныряла в тень и снова выныривала в свет.

Я смотрела, открыв рот. В животе было странное чувство — как будто тугой узел, который я носила в себе все последние месяцы, начал потихоньку ослабевать. Я не знала слова «покой». Но я его почувствовала.

В какой-то момент я перестала смотреть в окно и просто закрыла глаза. И заснула. Не от страха. Не от усталости-изнеможения. А от облегчения.

Дом тёти Сарии стоял в глубине деревни. Обычный деревенский дом, но мне он показался дворцом. Когда машина остановилась и мы вышли, меня накрыло запахами.

Пахло свежеиспечённым хлебом. Топлёным маслом. Мёдом. Чем-то сладким и пряным — позже я узнала, что это эчпочмак. Запахи были такими густыми и тёплыми, что, казалось, их можно потрогать руками.

На крыльце стояли люди. Много людей. Тёти, дяди, какие-то женщины в платках. Они заговорили все разом — на татарском, на русском, перебивая друг друга. Кто-то ахнул: «Какие худые!» Кто-то уже тащил пледы и тёплые носки.

Меня подхватили на руки. Чьи-то мягкие, большие ладони. От женщины пахло молоком и чем-то домашним. Она прижала меня к груди и запричитала по-татарски — я не понимала слов, но понимала интонацию. Так говорят, когда жалеют.

В доме был накрыт стол. Пироги, чакчак, эчпочмак, мёд в блюдце, чай в пузатом чайнике. Нас усадили, наложили полные тарелки. Мама сидела молча, и по её щекам текли слёзы. Она не вытирала их. Просто сидела и плакала, пока тётя Сария гладила её по плечу и приговаривала: «Всё, всё, вы дома».

Я не плакала. Я ела. Впервые за долгое время — горячую, настоящую еду. Не консервы, не сухой паёк. Вкус был таким ярким, что я запомнила его навсегда. Мёд слегка горчил. Хлеб был мягким и тёплым. Чай пах травами.

Рядом с домом тёти Сарии, буквально через забор, жила моя бабушка Фатима — мамина мама. Та, в честь которой меня назвали.

Первый раз я увидела её на следующий день.

Мы вошли в маленькую комнату, где пахло сухими травами и старостью — но не затхлой, а чистой, как пахнут вещи, за которыми ухаживают. Бабушка сидела у окна. Свет падал на её лицо, и я увидела глубокие морщины — как трещины на старой коре. Глаза у неё были мутные, почти ничего не видели, но она повернула голову на звук шагов и улыбнулась.

Меня подтолкнули вперёд. Я подошла. Она протянула

руку — медленно, неуверенно — и коснулась моего лица. Пальцы были сухие, тёплые, шершавые. Она провела по щеке, по лбу, по носу, будто читала моё лицо кончиками пальцев.

— Фатима, — сказала она по-татарски. — Маленькая моя.

И улыбнулась. Беззубо, светло.

Потом, в следующие месяцы, я часто сидела у неё. Она почти не вставала с кровати, но ум оставался ясным. Иногда она рассказывала что-то — тихо, негромко, и мама потом переводила мне. Она говорила о своём муже — моём дедушке. Как он ушёл на фронт в сорок первом, оставив её с пятью детьми. Как вернулся живым — воевал на «Катюше», дошёл до Берлина — но умер через десять лет от последствия полученных ран. Оставил её одну с девятью детьми. Девять ртов. Одна женщина.

Однажды мама перевела историю, которую бабушка рассказала шёпотом. В шестьдесят первом к ней пришли из соцслужбы. Сказали: давайте заберём младших в интернат, вам же тяжело, вы не справляетесь. Она стояла на пороге, заслоняя собой дверь, и ответила: «Заберите мою кожу. Но детей не отдам, пока жива».

Мама перевела, и я посмотрела на бабушку. Она сидела всё так же — у окна, сложив руки на коленях. Маленькая, сухонькая. И непонятно было, откуда в ней столько силы.

Я провела с ней последние полтора года её жизни. Перед смертью в январе 1996 года она позвала меня, снова коснu-

лась лица и сказала — медленно на татарском, который я уже понимала к тому времени: «Будь доброй. Слушай маму. И никогда не сдавайся».

Это был последний раз, когда я её видела.

После нашего приезда в Россию жизнь начала налаживаться.

Мама устроилась в больницу медсестрой. Приходила уставшая, от неё пахло лекарствами и хлоркой, но она улыбалась. Потом начала ездить в Уфу на вечерние курсы — хотела стать физиотерапевтом. Мы с Анжелой ходили в садик. Назар рос не по дням, а по часам.

Через какое-то время нам выделили квартиру — пусть маленькую, однокомнатную, но свою. Я помню, как мы впервые вошли туда и мама сказала: «Здесь мы будем жить». В её голосе была осторожная, ещё не окрепшая уверенность. Она будто сама себе не верила.

И правда — жизнь налаживалась. Появился ритм. Утро, садик, работа, вечерние чаепития на крошечной кухне. Мы смеялись. Мы перестали вздрагивать от резких звуков.

Но один вопрос так и остался без ответа.

Где отец?

С момента эвакуации — больше полутора лет — от него не было ни письма, ни звонка. Тишина. Глухая, как стена. Родственники мамы считали, что он погиб. Но мама никогда так не говорила. Особенно при Назаре.

Ему было три года, и он не помнил отца. Но мама расска-

зывала ему сказки — те же самые, что когда-то шептала нам под кроватью во время бомбёжек. Про храброго офицера. Про то, что он далеко, на важной миссии. Что он защищает нас. Что он обязательно вернётся.

Назар слушал, распахнув глаза. Для него отец был героем из волшебной истории. Тем, кто однажды появится на пороге и изменит всё.

Однажды вечером, после очередной такой сказки, Назар вдруг сказал:

— Мама, папа завтра приедет.

Мама улыбнулась, погладила его по голове и ничего не ответила.

На следующий день стояло тёплое, ясное лето, июль 1996 года.

На мне было лёгкое серое платьице — простой хлопок, без карманов. Мама подстригла меня накануне: волосы теперь едва доходили до мочек ушей, и голова казалась лёгкой и странно голой. Я прыгала через скакалку во дворе перед домом. Скакалка была старой, деревянные ручки потрескались и потемнели от ладоней, но верёвка ещё свистела в воздухе. Раз-два-три-четыре. Дорожка под ногами была пыльной. Солнце уже клонилось к вечеру, но воздух оставался тёплым и мягким — совсем не такой, как в Йемене.

Я считала вслух. Пять-шесть-семь.

И тут подъехало такси.

В нашей деревне такси было редкостью. Машина — ста-

рая «Волга» кремового цвета — остановилась у обочины. Я прекратила прыгать и смотрела, переводя дыхание.

Дверь открылась.

Из машины вышел мужчина. Высокий. С восточным лицом — смуглая кожа, тёмные глаза, чёткие линии скул. На нём была гражданская одежда, но осанка — прямая, жёсткая — выдавала военного.

Я смотрела и не могла пошевелиться.

Где-то глубоко внутри что-то узнало его. Не память — тело. Изгиб плеч. Манера держать голову. Что-то смутно знакомое, из самой ранней детской глубины, из того времени, когда слова ещё не имели смысла.

Он подошёл ближе. Остановился в нескольких шагах. И сказал:

— Я твой отец.

Скакалка выпала из рук.

В моей голове был другой образ. Тот, которого рисовали мамины сказки. Герой. Спаситель. Человек, который войдёт в луче света и всё изменит. А передо мной стоял живой мужчина. С седыми прядями в волосах. С усталыми складками у рта, он сильно изменился с того момента как я его видела в последний раз.

Не вымышленный. Не герой. Просто мой отец.

Я не заплакала. Не бросилась обнимать. Я просто стояла и смотрела на него, и внутри меня две картинки — сказочная и настоящая — пытались совместиться, как два несовпада-

ющих слайда.

А потом что-то щёлкнуло. Он живой. Он здесь.

Я развернулась и побежала.

Улица была прямой и длинной. Она тянулась через всю деревню, и когда я бежала, она казалась мне бесконечной. Пыль взлетала из-под ног. Сердце колотилось где-то в горле. Я бежала и кричала одно и то же, снова и снова:

— Папа жив! Он приехал! Мама! Папа жив!

Соседи оборачивались. Кто-то выгладывал из окна. Кто-то окликнул меня — я не слышала.

Я добежала до дома моего дяди, где была моя мама. Мама стояла на пороге — наверное, услышала крик. Она смотрела на меня, ещё не понимая. Я влетела в неё, вцепилась в юбку и, задыхаясь, выдохнула:

— Папа... он там... приехал...

Мама подняла глаза. И посмотрела на дорогу, по которой я только что бежала.

Через несколько дней начались разговоры.

Крики. Ссоры. Мама не хотела возвращаться. Она слишком многое пережила. Слишком дорого заплатила за их «восточную сказку». Но отец умолял. Говорил, что любит. Что не может без нас. Что всё будет иначе.

— Мы не поедем в Йемен, — добавил он. — Мы поедем в Сирию. Там я получил политическое убежище.

Он объяснил: Южный Йемен проиграл войну 1994 года. Все офицеры, воевавшие на стороне южан, были вынуждены

покинуть страну. Он тоже уехал — и теперь звал нас туда.

Родные мамы умоляли её не ехать. Тётя Сария плакала.

Мама собрала чемодан.

Снова — как когда-то в Ленинграде — она выбрала его. Выбрала любовь. Выбрала веру в то, что на этот раз всё будет иначе.

Впереди была Сирия.

ГЛАВА 5. Люди в голубых беретах

Сирия встретила нас в конце лета 1996 года.

После башкирской зелени и простора Дамаск показался мне вырезанным из камня. Узкие улицы, дома цвета охры, ставни, закрытые от солнца. Воздух был сухим и лёгким — не то, что липкая жара Адена. Днём солнце пекло спину, но в тени сразу становилось прохладно. А вечерами с гор спускался ветер и приносил запах, который я не могла ни с чем сравнить. Не еда. Не цветы. Тёплый камень, нагретый за день, и тонкая ниточка горного чабреца. Позже я узнала, что где-то в соседних дворах цвёл жасмин — он вплетался в этот воздух едва уловимо, как случайная нота.

Мы поселились в районе, где жили йеменские военные. Такие же, как отец, — участники проигранной войны, бежавшие сюда в поисках убежища. Квартира была маленькой и почти пустой. Первое время мы спали на матрасах, которые днём сворачивали в углу.

Отец приходил вечером. Садился на пол, скрестив ноги, и раскрывал перед нами детские книжки с арабскими буквами. Алиф — прямая палочка. Ба — тарелочка с точкой. Та — две точки сверху. Его большой палец скользил по строчкам, а голос становился мягче, чем обычно. В эти минуты он был терпеливым. Почти нежным.

Постепенно мы начали выходить на улицу. Мама брала

нас с Анжелой на рынок — и там меня накрывало с головой. Крики торговцев, блеск медных кувшинов, горы специй: ярко-красная паприка, золотая куркума, тёмная зира. Продавец однажды протянул мне маленький кусочек халвы — сладкой, рассыпчатой, с миндалём. Я до сих пор помню этот вкус.

Потом нам наняли учителей. К сентябрю я уже могла связать несколько слов. В первый класс пошла с мокрыми ладонями и колотящимся сердцем. Школа была большая, чужая, полная незнакомых звуков. Но я быстро втянулась и к концу года стала первой ученицей.

Для меня это было важно. Анжела — старшая, красивая. Назар — младший, долгожданный сын. А я — средняя. Та, про которую говорят: «Она и так справится». Я и справлялась. Но внутри копилось: заметьте меня. Увидьте. Похвалите.

Иногда мне удавалось побыть с отцом наедине. Это были редкие минуты — украденные у его работы, у командировок. Он заваривал чай, садился рядом и вдруг начинал говорить — о политике, о войне, о том, как устроен мир. Я слушала очень внимательно и задавала вопросы. Глупые. Детские. Он никогда не смеялся. Отвечал серьёзно, с лёгкой улыбкой в уголках губ. Мне казалось: он видит во мне не ребёнка. Он видит достойного собеседника.

Однажды он взял меня с собой в офис ООН — продлевать статус беженцев. Мы вошли в светлый коридор с кон-

дицонером. Пахло бумагой и чем-то казённым. Пока отец говорил с чиновником, я сидела на стуле у стены и болтала ногами.

На столе лежали брошюры.

Я взяла одну. Открыла. И замерла.

С обложки на меня смотрели люди в голубых беретах. Точно такие же, как те — на корабле. Те, что раздавали воду. Те, из маминых сказок под кроватью.

Я дёрнула отца за рукав.

— Папа! Это они! Я их помню!

Он опустил глаза на брошюру и кивнул.

— Это миротворцы ООН.

— А кто у них самый главный?

— Генеральный секретарь ООН.

— А как его зовут?

— Кофи Аннан. Он из Африки.

Я перевернула брошюру, посмотрела на фотографии — солдаты, грузовики, голубые каски, флаги.

— Я хочу быть генеральным секретарём ООН, — сказала я. — Когда вырасту.

Отец не засмеялся. Он посмотрел на меня внимательно и улыбнулся.

— Тогда ты должна много учиться.

— Я буду.

И он поверил. Я видела это по его глазам — он правда допустил, что это возможно. Мой папа верит, что я смогу.

Значит, я смогу.

Мы вышли из офиса. Вечерний Дамаск был золотым. Солнце садилось за минареты, и улица светилась, как будто её подсветили изнутри. Я шла, держа отца за руку, и внутри меня что-то гудело. Как будто натянули струну — и она звенит. Я не могла сформулировать, что именно изменилось. Просто мир стал больше. И у меня в нём появилось место. Появилась точка назначения, куда я буду двигаться.

Потом было ещё три года. Спокойных. Почти счастливых.

Но в начале двухтысячных всё изменилось.

Президент Йемена Али Абдулла Салех объявил амнистию офицерам, участвовавшим в войне на стороне южан. Отец начал ездить в Йемен. Сначала — короткие командировки. Потом — всё чаще и дольше. Он возвращался другим: более жёстким, менее разговорчивым. Всё чаще заводил с мамой один и тот же разговор: «Давайте переедем обратно».

Она напоминала ему обещание, данное в Башкирии. Он кивал, а через неделю начинал снова.

Я не понимала, почему мама сопротивляется. Может, там, в Йемене, нас ждёт что-то хорошее. Я ещё не знала, что бывает, когда отец нарушает обещания.

А потом наступил тот самый вечер.

ГЛАВА 6. Трещина

Телефон зазвонил вечером.

Обычный вечер. За окнами уже стемнело, но было ещё не поздно. Мы сидели в гостиной — я, Анжела, Назар. Мама мыла посуду на кухне. Я увидела, как она вытерла руки полотенцем и подняла трубку.

— Алло?

Сначала — пауза. Короткая. Потом её голос изменился. Он стал чужим. Деревянным.

— Что?.. Повтори.

Я подняла голову. Я не слышала, что говорили на том конце. Но я видела мамино лицо. Оно застыло. Глаза расширились. Пальцы свободной руки вцепились в край стола.

— Этого не может быть, — сказала она. — Ты ошибаешься.

И снова пауза. Длиннее.

— Мы получили приглашение на свадьбу твоего мужа, — донеслось из трубки. — Завтра свадьба пройдет в Адене.

Мама положила трубку. Не бросила. Положила — медленно, как будто та весила тонну. Опустилась на стул. И заплакала.

Она плакала молча. Ни одного всхлипа. Только слёзы текли по щекам и капали на стол. Мы с Анжелой подошли ближе, но она как будто нас не видела. Её пальцы сжимали край

стола так, что побелели костяшки.

Потом она снова подняла трубку. Набрала номер отца.

Гудок. Ещё гудок. Ещё.

— Пожалуйста, — сказала она, когда он ответил. — Пожалуйста, не делай этого. Вернись. Мы всё решим. Ты же обещал. Ты обещал нам.

Тишина. Я стояла рядом и слышала его голос — далёкий, как из другой вселенной:

— Не звони мне. У меня завтра свадьба. Не беспокой меня.

Короткие гудки.

Мама сидела неподвижно. Трубка выпала из её руки и повисла на шнуре, раскачиваясь. Из неё доносилось монотонное «бип-бип-бип». Этот звук заполнил всю комнату. Я стояла и не могла пошевелиться.

Ночью я проснулась от тишины.

Это была неправильная тишина. Слишком плотная. Слишком глухая. Я встала с кровати. Анжела и Назар спали. Я вышла в коридор.

Дверь в ванную была приоткрыта. Оттуда падал свет — резкий, жёлтый. И тишина была там. В этой полоске света.

Я подошла. Заглянула.

Раковина была красной. Вода в ней — розовой от крови. Мама стояла, держась обеими руками за край, голова опущена. Кровь текла из носа и изо рта — тонкими струйками, капала на белый фаянс, смешивалась с водой. Она не стона-

ла. Не звала на помощь. Просто стояла и смотрела, как кровь уходит в слив.

Я не закричала. Не заплакала. Я просто застыла в дверях. В висках стучало. Перед глазами всё поплыло, и на секунду мне показалось, что это не мама, а кто-то чужой. Кто-то, кого я не знаю.

Она подняла голову. Посмотрела на меня. И в этом взгляде не было ничего — ни страха, ни боли. Только бесконечная усталость.

— Иди спать, — сказала она губами. Голоса не было.

Я не пошла. Я стояла и смотрела, как она вытирает лицо полотенцем. Белое становилось красным. Она сполоснула раковину. Выключила воду. Прошла мимо меня в спальню и легла, отвернувшись к стене.

Я вернулась в кровать. Легла. И до самого утра смотрела в потолок.

Через несколько дней всё повторилось.

На этот раз кровь не останавливалась. Мама стояла в ванной, зажимая нос рукой, но кровь текла сквозь пальцы. Мы с Анжелой метались по коридору — принести салфетки, полотенце, ещё что-то. Мама ничего не просила. Она просто стояла и ждала, пока пройдёт.

Не прошло.

Она вышла из ванной сама. Лицо белое, но спокойное. Держалась за стену — легко, почти незаметно, будто просто опирается. И сказала тихо:

— Нужно в больницу.

Назар первым оказался рядом. Ему было одиннадцать, но в тот вечер он вдруг стал старше. Он взял маму под руку — не как ребёнок, а как взрослый мужчина. Повёл к двери. Не суетился. Не плакал. Просто держал.

Мы выбежали на улицу. Улица пустая. Я выскочила на дорогу и замахала руками.

— Помогите! Пожалуйста!

Одна машина притормозила. Водитель выглянул, увидел маму — она стояла, выпрямившись, прижимая платок к лицу, — и уехал. Я махала следующей. Наконец остановилось такси.

Мама села на заднее сиденье сама. Назар — рядом с ней. Анжела — с другой стороны. Я — впереди. У Анжелы были какие-то деньги — те, что мама отложила на неделю.

В больнице пахло хлоркой и чем-то кислым. Маму повели под руку — она пошла сама. За белой дверью скрылась. Я села на стул в коридоре. Анжела и Назар спустились на первый этаж — заполнять бумаги.

Коридор был длинный. Лампы гудели под потолком. Где-то далеко катили каталку. Кто-то стонал. Кто-то разговаривал шёпотом.

Я смотрела на свои руки. Они лежали на коленях, и я вдруг заметила, что они дрожат. Мелко, почти незаметно. Я сжала их в кулаки. Не помогло.

И в этот момент внутри что-то треснуло.

Не мысль. Не слова. Просто холод, который разлился по груди и остался там. Если мама умрёт — мы останемся совсем одни. В чужой стране. Без денег. Без родственников. Без защиты. Мы — никто.

Мне было двенадцать лет. Я сидела в больничном коридоре чужой страны и впервые в жизни поняла, что такое настоящая пропасть. Не та, что под ногами. А та, что внутри.

Врачи сказали: нервное. Ей нельзя волноваться. Нужен покой.

Какой покой? На следующий день мама встала. Надела платок. Сказала спокойным голосом:

— Я нашла работу.

— Где? — спросила Анжела.

— В мечети напротив. Уборщицей.

Она сказала это так, будто речь шла о чём-то обыденном. Мы молчали. Мама — физиотерапевт, женщина, которая восстанавливала пациентов после операций, — будет мыть полы. Она улыбнулась — сухо, одними губами — и вышла за дверь.

Я подошла к окну. Смотрела, как она пересекает улицу. Тонкая. Прямая. В стареньком платке. Она не оглянулась.

Потом были дни, похожие друг на друга.

Мама работала. Приходила домой, мыла руки, садилась на кухне и молчала. Она почти не ела. Почти не спала. Она перестала плакать. Но перестала и улыбаться. Как будто внутри неё что-то выключили.

И вдруг — звонок. Не с плохими новостями. С хорошими.

Знакомая девушка — из русской семьи, они с её мамой жили в Дамаске — пригласила нас в гости. Мама оживилась. Я увидела, как она поправила волосы и достала из шкафа своё лучшее платье. Она не надевала его уже несколько месяцев. Мы собирались вместе — Анжела, Назар, я. Впервые за долгое время в доме появилось что-то похожее на предвкушение. Мама улыбалась — не той сухой улыбкой, а почти настоящей.

Мы уже стояли у двери, когда телефон зазвонил снова.

Я видела, как мама взяла трубку. Как её плечи чуть опустились. Как она кивнула — один раз.

— Да. Я понимаю.

И положила трубку.

— Мама передумала, — сказала она ровным голосом. — Она считает, что ей не нужно слушать чужие слёзы.

Мама стояла посреди прихожей в своём лучшем платье. Мы — одетые, готовые — рядом. Тишина была такой плотной, что я слышала, как на улице гудит чей-то мотор. Назар опустил глаза. Анжела молча сняла туфли.

Мама посмотрела на нас.

— Ничего страшного, — сказала она.

И улыбнулась. Той самой улыбкой, от которой у меня сжималось сердце.

Она сняла платье. Повесила обратно в шкаф. Пошла на кухню и включила чайник.

В этот вечер она больше ни слова не сказала о звонке. Но я видела, как она сидела за столом и смотрела в одну точку. Чай остыл. Она его не пила.

Она больше никому не рассказывала. Ни одной живой душе. Она носила всё в себе — день за днём, неделю за неделей. И однажды я увидела, как она говорит сама с собой.

Я возвращалась из школы. Она шла по улице — я увидела её издалека. Губы двигались. Она что-то шептала, иногда кивала, иногда качала головой. Рядом никого не было. Я замерла. Она не заметила меня. Прошла мимо — и продолжала говорить.

Позже мой одноклассник сказал мне: «Я видел твою маму. Она разговаривала сама с собой».

— Да, — ответила я. — Она просто устала.

В тот вечер я легла в кровать и долго смотрела в потолок. Я вспоминала девочку на палубе корабля. Дельфинов. Голубые береты. Того отца, который учил меня буквам. Того, кто верил, что я смогу.

Я закрыла глаза.

Трещина внутри меня становилась глубже. Я ещё не знала, сколько всего ей предстоит вместить.

ГЛАВА 7. Затишье

Мама не сломалась.

Я не знаю, где она взяла силы. Может быть, просто не позволила себе — потому что за спиной были мы трое, а впереди не было никого. Она вставала каждое утро, умывалась, провожала нас в школу и выходила за дверь. И возвращалась вечером.

Сначала была работа уборщицей в мечети напротив.

Однажды поздним вечером мама снова была в мечети. Мы сидели дома втроём — Анжела, Назар, я. За окном уже темнело.

— Давайте поможем, — вдруг сказала Анжела. — Если мы втроём возьмёмся, она закончит быстрее.

Мы не обсуждали. Просто встали и пошли.

В мечеть мы вошли тихо. Мама стояла на коленях в дальнем углу женского зала и тёрла пол. Она не сразу нас заметила. Анжела взяла тряпку и начала мыть перила. Назар включил пылесос в мужской половине. Я подошла к окнам — высоким, с цветными витражами, на которых уже оседала пыль. Я взяла пульверизатор с водой и бумажные полотенца.

Я брызгала на стекло и водила ладонью, размазывая влагу. Вода стекала вниз мутными дорожками. За окном горел фонарь. Внутри было тихо — только гул пылесоса из мужской половины да плеск воды в ведре.

Мама подняла голову, увидела нас и замерла. Несколько секунд она просто смотрела. Потом улыбнулась — не той сухой улыбкой, а другой, редкой, которая у неё появлялась, когда она не ждала ничего хорошего, а хорошее случалось. Она ничего не сказала. Просто вернулась к работе.

Мы закончили быстрее, чем она обычно управлялась одна. И пошли домой вместе — по пустой вечерней улице, вчетвером. Мама держала Назара за руку. Мы с Анжелой шли чуть позади. И в этой тишине, в этом тёмном небе, в этом ритме наших шагов было что-то, чего я давно не чувствовала. Мы были командой. Мы прикрывали друг другу спину.

Прошло несколько месяцев. Мама начала возвращать себе то, что умела лучше всего. Физиотерапия. Сначала — один пациент. Потом — ещё два. У мамы были руки, которые чувствовали боль другого человека. Она клала ладонь на спину — и уже знала, где болит. Пациенты уходили от неё легче, чем пришли. Они возвращались и приводили новых.

Она попробовала работать в клинике. Но владелец платил не всегда — знал, что у мамы красный штамп в документах: «запрещено работать». Беженцам здесь не положено зарабатывать. Ей некуда было жаловаться. Она улыбалась, благодарила и продолжала лечить его пациентов. А потом ушла. Стала принимать дома.

В гостиной появилась кушетка. На полке — баночки с маслами, полотенца. В определённые часы мы должны были

сидеть тихо. Иногда я заглядывала в щёлку двери и смотрела, как мама работает. Лицо сосредоточенное, спокойное. Руки двигаются уверенно. Она что-то тихо объясняла пациенту — на арабском, который теперь звучал у неё почти без акцента.

После сеанса она проветривала комнату. Заваривала чай. Садилась у окна и смотрела на улицу.

— Как дела? — спрашивала я.

— Хорошо, — отвечала она. — Всё хорошо.

И я верила.

Мама знала все распродажи в дорогих магазинах — те, где скидки семьдесят процентов. Приносила вещи, которые выглядели так, будто мы купили их за полную цену. Мы никогда не ходили в обносках. «Неважно, сколько у тебя денег, — говорила она. — Важно, как ты себя несёшь».

Где-то в эти месяцы у нас появился кот. Он пришёл сам — однажды вечером мы услышали тихое мяуканье у порога. Мама открыла дверь. На лестнице сидел рыжий котёнок, тощий, с белыми кончиками лап. Ему было от силы несколько месяцев. Он посмотрел на маму и шагнул внутрь — не испуганно, а по-хозяйски, как будто ждал, что его наконец впустят.

Мы назвали его Наммур — «тигрёнок» по-арабски.

Вечерами мы садились ужинать за круглый зелёный стол. Мама, Анжела, Назар, я — и Наммур. У него был свой стул. Тот самый, на котором когда-то сидел отец. Пустовавший все эти годы. Теперь на нём восседал рыжий, умытый, мурлыка-

ющий Наммур и смотрел на нас так, будто всю жизнь здесь просидел.

Мама заваривала чай с мятой. Назар рассказывал что-то смешное. Анжела заплетала мне косички. Наммур спрыгивал со стула и устраивался у меня на коленях. И в этом мурлыканье, в этом чае, в этих косичках было столько простого, обыкновенного счастья, что всё пройденное — война, побег, предательство, кровь в ванной — отступало. Не исчезало. Но затихало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.